

Что такое культура?

(Из современного спора о культуре).

Каждое литературное произведение двойною цепью связано с временем, его породившим. Сам автор не может не быть человеком своей эпохи, не есть ее хлеба, не дышать ее воздухом. Материал, им обрабатываемый, прямо или косвенно так же связан с окружающей реальностью. Поэт волен любым образом обойтись с этой реальностью (это — дело стиля), но уйти от нее он не властен.

(Из предисловия Адр. Пиотровского к «Сатирикону» Петрония Арбитра).

— Юноша, — сказал он, — речь твоя идет в разрез со вкусом большинства и полна здравого смысла, что теперь особенно редко встречается.

(Арбитр Петроний «Сатирикон»).

— **НАТАША.**

— А?

— Ты отца своего помнишь?

— Помню.

— Ты знаешь, что его убили на Пресне?

— Да-а, — улыбнулась Наташа.

Митрофан Егорович грузно шевельнулся на стуле.

— Его убили на Пресне, — повторил он и отвел глаза от Наташи, стал крутить на грубых пальцах рыжие усы.

— Да, — кивнула Наташа, — помню.

Дядя промолчал; он только взглянул на племянницу, которую он безумно любил, которую считал своею дочерью

после ее родителей. До сегодняшнего дня он был спокоен за свою Наташу: в ее глазах, в ее улыбке он не видал огня опасной молодости. А сейчас,—это он ясно заметил,—в ее глазах полыхает огонь, струится, бежит по ее молодому крепкому и гибкому телу. Этого огня Митрофан Егорович чрезвычайно испугался. Он, вместо того, чтобы спросить, не полюбила ли она кого, напомнил ей об отце, заставил на время задуматься, согнать с лица румянец.

Больше, кроме напоминания об отце, он ей ничего не сказал. Он только тяжело возился на стуле, крутил больше рыжие усы, за которые Наташа в детстве прозвала его «красным тараканом» и, при виде его усов, громко кричала, прижавшись к матери:

— Таракан! Таракан!

Сейчас она тоже смотрела на дядю, на его большие выросшие усы, улыбалась. От счастливой ее улыбки по стенам комнаты, по мягкой мебели играли, прыгали голубые зайчики. На кубическом лице (оно словно было сделано из кубиков) Митрофана Егоровича, путаясь в густых усах, тоже играли резвые зайчики.

— Ну, и усы у тебя,—засмеялась Наташа.—Ты совсем стал похож на большого таракана,—и она, крепко обвинив его шею, стала покрывать лицо поцелуями.

— Ты сердисься, а?

Митрофан Егорович в таких случаях только сопел: он хорошо знал, что его племянница любит его не меньше, чем он ее. В такие минуты он делался мягким, словно из воска, что хочешь, то из него и делай. Он добродушно отнекивался от поцелуев племянницы, но не отнимал шершавого колючего лица, а наоборот, расправляя на нем жесткие морщины делал его ласковым, нежным.

— Оставь, оставь,—говорил он с удовольствием в голосе.—Ну, за что я буду на тебя сердиться? Ну, за что?

— Так ты, дядюшка, не сердисься?

Митрофан Егорович совершенно млея, таял от любви. Он в своей любимой Наташе не видал опасного огня, который бывает у девушек в глазах, в молодом теле на пороге семнадцатого года. Она ему опять показалась ребенком, таким же, каким была и раньше: хорошей, светлой.

— Я тебе куплю платье,—пообещал он неожиданно.

— Платье?

— Да,—покраснев, растерянно ответил он, и обругал внутренние себя: «Совсем я, старый хрен, выжил из ума, говорю ребенку, что не надо».

— Да ведь ты мне недавно купил,—улыбнулась Наташа.

— Другое куплю,—ворочая кубиками лица под бронзовой кожей и большими морщинами, бессвязно бормотал Митрофан Егорович.—Хорошее куплю, шерстяное.

Наташа опять бросилась его целовать. Он вторично выругал себя: «И зачем это я, старый дурак, ее балую?».

— Ты только скажи, Наташа, какого тебе цвета купить,—освобождаясь от поцелуев, громко выпалил он и грузно поднялся со стула.

— На свой вкус,—ответила Наташа.—Ты лучше знаешь, что мне идет.

Польщенный таким ответом Наташи, Митрофан Егорович стал прощаться.

— Будь здорова,—сказал он и направился к двери.—Я знаю, что тебе надо. Я знаю, что тебе будет к лицу.

Наташа, улыбаясь, шла за ним. У двери Митрофан Егорович внезапно остановился, повернулся к Наташе,

внимательно посмотрел на нее. На его лице опять появилась тревога, он зашевелил кубиками лица. Он опять увидел на лице Наташи, в ее глазах огонь.

— Наташа!

Наташа вспыхнула. Она хорошо поняла тревогу дяди. В голове ее завертелась мысль: «Разве он уже знает»? Но эта мысль тут же погибла. Нет, он этого не знает. Она подняла глаза, посмотрела на дядю, потом отвела глаза в сторону, и стала смотреть мимо дяди, в угол своей маленькой комнаты, помещающейся рядом с ванной.

— Наташа,—сказал дядя,—я что-то плохо себя чувствую.

— Больны?—взглянув на него, тревожно спросила Наташа.

— Нет, не болен,—сказал дядя и показал на грудь:—тут вот у меня плохо, беспокойно.

Наташа отвела взор в сторону. Наташа хорошо понимала тревогу дяди, и была глубоко благодарна ему. И она тут же решила поведать свою тайну: ведь он для нее был больше отца.

— Дядя!

Но дядя перебил ее. И она замолчала.

— Если бы была жива твоя мать, то она тебя перекрестила бы... Я этого сделать не могу.

— Почему?—Разве я тебе не...

— Нет, нет,—изволновался Митрофан Егорович.—Ничего из моего креста путного не выйдет: я, как и твой отец, не верю в бога и в его...—Он вытянулся, неожиданно решил.—Дай, я тебя лучше поцелую. Вот так,—сказал он.—Будь счастлива.

И, тяжело шагая, вышел из чужого дома.

После ухода дяди, Митрофана Егоровича, Наташа долго сидела в своей комнате. В этот день она была свободна от сутолоки господского дома: господа были в отъезде и приедут не раньше, как через неделю. Прислуга, кроме старой экономки, делает визиты по знакомым. Повар и лакей Петр третий день гуляют в соседней пивной. В господском доме тишина, величавое спокойствие богатой мебели. Только изредка редкостная мошь дрожащим желтым светлячком разрежет тишину барских покоев. Да разве еще прошелестят бархатные туфельки старой экономки по блестящему стеклу паркета.

Наташа в своей комнате. В сердце не было покоя: дядя тревогу свою передал ей, перелил из своего сердца в ее.

— И зачем ему нужно было напоминать об отце?— сказала она громко себе и вспомнила прошлое, которое было очень далеко, неуловимо плавало в сером тумане зимних дней и ночей. Она, стараясь припомнить, поймать воспоминание детства, сделала на высоком лбу венчик морщин.

Через несколько минут оно выплыло. Вот показались очертания стен полуподвальной квартиры; большая кровать, покрытая цветным одеялом; ободранное кресло с торчащими сосульками трлпок; несколько табуреток, старых венских стульев; большой стол в переднем углу,—и все. «Ты отца своего помнишь?»—вспомнила она слова дяди, вздрогнула. Помнит ли она отца? Нет, она его почти не помнит. Он затерялся, испарился золотистой дымкой. «Затерялся ли?»—спрашивает она тревожно себя, туже собирая венчик на лбу. Потом широко открытым взглядом напряженно смотрит вдаль, в серую мглу дней, но-

чей, вспоминает. Перед ее горячими глазами вырисовывается большой стол, накрытый розовой скатертью, потом показываются рыжие усы отца, белый чепчик матери. «Разве у него были рыжие усы?—удивляется Наташа.— Я, наверное, его путаю с дядей»,— и она вспомнила дядю. И отец опять затерялся, перешел в любимого дядю, который только что был да и сейчас стоит перед глазами в сером тумане.— «Твой отец убит на Пресне».

— Да, да,— вздыхает Наташа, вздрагивает.— Мой отец убит на Пресне.— И она видит перед собой лицо отца с вьющимися красноватыми волосами, откинутыми назад.

— Да, да—это мой отец,— улыбаясь шепчет она.— Это не дядя, у дяди волосы подстрижены под ерша, усы длиннее.

— Это твой отец, убитый на Пресне,— отвечает голос дяди.

Наташа покорно соглашается:

— Да, это мой отец, убитый на Пресне.

И она видит себя за столом, на ободранном кресле, позади отца и матери. Отец смазывает маслом черно-серебряные предметы, неизвестные ей. Мать, облокотившись левой рукой на угол стола, грустно смотрит на отца. На ней белый чепчик, он немного сбил на бок. Из-под него выбежали черные пряди волос, блестящими живыми струйками рассыпались по белой кофточке, по костлявым плечам, прямой спине. Оба молчат. Так длится несколько минут. И в это время, промежуток молчаливой, суровой жизни отца и матери кажется Наташе огромной вечностью, которая разъединит их навсегда. Впрочем, тогда она, находясь позади отца и матери, так не думала, эта мысль вывернулась только теперь. Возможно, что эта мысль была матери, переданная тогда суровым молчанием отцу и взглядом глаз—ей, Наташе,—ведь глаза На-

таши были такого же цвета, как и у ее матери, такой же глубины. Об этом часто говорил дядя:—«Ты вылитая мать».—«Разве мама такая была?»—спрашивала она у него.—«Точь в точь»,—бросал он, и нежно говорил ей: «Сирота ты моя!». Так было раньше, когда жила с дядей в небольшой комнатке, уютно заставленной книгами. В этой комнате она прожила 15 лет, пока не окончила городское училище. В этой комнате она проводила время с книгами, в особенности, за стихами Пушкина, Лермонтова, а больше всего за современными поэтами и за французскими—Верленом, Бодлером, Рэно Гилем. Многие их стихи она знала наизусть, целыми днями и вечерами, когда она была одна в комнате, напевала.

Наташа хорошо помнит, когда отец перетирал металлические штучки, она спокойно сидела за столом, с большим любопытством следила за предметами, которые отец осторожно, внимательно раскладывал по табуреткам. Когда все было отцом сделано, Наташа вышла из-за стола, подошла к отцу, взяла одну красивую пружинку, стала ее рассматривать.

— Ээге!—протянул недовольно отец и взял у нее обратно.—Иди на свое место.

Она, заломив ручонки за спину, насупилась, постояла в таком положении немного и, видя, что отец не обращает на нее никакого внимания, отошла от него, прижалась к матери, суровым зверьком стала поглядывать на отца.

«Ээге!»—нарушило тишину вечера. И Наташа хорошо помнит, как мать глубоко вздохнула, крепко поцеловала ее в макушку и голосом, полным скорби, сказала:

— Григорий!

Отец не ответил.

— Григорий!—повторила скорбно она.

Отец опять не ответил: он только ниже склонил голову. Голос матери звучал, точно из глубины вчерашнего дня.

— Ты что же молчишь?—надрывно бросила она и заплакала.

— Ну, что?.. — не поднимая головы и прича глаза, отозвался отец.

— Идешь?

— Опять за старое!—бросил раздраженно он.

— А ребенок?—всхлипнула всей грудью мать.

Отец положил предметы, вскочил, забегал по комнате. А когда мать перестала плакать, он подошел к ней, обнял одной рукой, а другой, сбросив чепчик, стал гладить ее темные, как цыганская ночь, волосы.

Наташа была между отцом и матерью. Она чувствовала тепло их ног, невыразимую, трепетно вздрагивающую над ее головой тоску матери. Отец что-то хотел сказать, но в это время застучали в дверь и он, оставив мать, бросил:

— Войдите!

В комнату вошло несколько человек, с большими усами, одетые в коротенькие теплые пиджаки. Все они были крепкие, сутулые, как ее отец. Она испуганно прижалась к матери.

— Ну, как дела?—спросил один из них.

— Готово,—ответил отец.—А патроны вон в ящике.

И она видела, как пришедшие люди стали разбирать патроны, похожие на кедровые орехи, глубоко пряча их в карманы.

— Насытились?—спросил отец.

— Готово,—ответили люди и направились к выходу.

— Обождите,—сказал отец,—надо пробираться к ук-
занному месту по одному, цепью...

— На улидах никого... ни души,—сказал кто-то и засмеялся.

— Я пойду первым,—предложил отец.

В это время недалеко от дома глухо и тяжело раздался взрыв, от которого вздрогнул дом, задребезжали рамы, зазвенели стекла, падая мелкими осколками на мостовую. Люди от двери попятились назад, переглянулись. Мать вскрикнула первой, бросилась к отцу, повисла на груди. Он бережно взял ее на руки, положил на кровать, одел одеялом, поцеловал и громко вздохнул:

— Прощай! Не сердись...

Потом обернулся к Наташе, крикнул:

— Где ты?

Она вертелась около его ног. Он быстро схватил ее, вскинул вверх, прижал к своему шершавому, давно не бритому лицу. Она почувствовала, как по ее щекам зашевелились усы, жесткая щетина бороды.

— Ну, довольно,—бросил он и, опуская ее на кровать к матери, ласково погрозил:

— Тихо, не орать. Спи!

И быстро вышел из квартиры.

А она, Наташа, дрожа всем телом, подлезла под одеяло, прижалась к теплоте тела матери.

Наташа вздрогнула: перед ее взором стояли серые зимние туманы дней, непроглядно-скорбных ночей, а в этих туманах ни отца, ни матери, только кубическое лицо, связанное сеткой морщин, стояло перед ее горячим взглядом, сурово говорило:

— «Твоего отца убили на Пресне».

Да еще пронзительно звонил в прихожей звонок.

Она туго стянула венчик на лбу. Она снова хочет вернуться к воспоминаниям своего далекого детства, явившегося из серого мрака так реально, так отчетливо.

Была ночь.

Была ночь.

— И я, прижавшись к матери...

— Дзин...

— Дзинн...

Наташа слышит. Наташа отчетливо видит сквозь стены своей маленькой комнаты: где-то во мраке прихожей возится, пружинится металлический паук, дребезжит своим противным металлическим голоском:

— Дзинини!

— Откуда это?— бормочет она и хочет подняться, но никак не может.

А металлический паук бьется во мраке вечера, пружинится. Наконец, Наташа осиливает себя; она срывается со стула: она вместе с серым туманом далекого детства бежит в переднюю.

— Кто?

— Я.

Наташа открыла дверь. В прихожую ввалился в веселом расположении духа лакей Петр.

— Ты сдохла?— крикнул он и, заложив руки в бока, обвис туловищем на кривые ноги и отъехал от двери.

— Ты сдохла,—спрашиваю я,—а?

Наташа стоит в недоумении: перед ее глазами в серой дымке тумана качается, пружинится на тонких ножках не лакей, а серый в желтых крапинках паук.

— Ты сдохла?— повторлет он в третий раз.— Ты видишь, я приехал на рессорах, а...

Наташа перебирает губами.

— Чтоо?..—приседая на кривые ноги, взвизгивает Петр и отскакивает к двери.

Наташа смеется.

— Ааа. Это ты?